Рачия ОВАНЕСЯН

«ЛИЦО ВОЙНЫ»

Видный армянский поэт, лауреат Государственной премии республики Рачия Ованесян недавно завершил работу над мемуарной повестью «Лицо войны». Правдиво и достоверно изображая события Великой Отечественной войны, участником которых был автор, тяжелые испытания, выпавшие на его долю, он на целом ряде эпизодов раскрывает глубокий патриотизм советских людей, создает выразительные образы наших солдат и офицеров. При всей реалистичности описания трудных фронтовых будней и жестокостей войны повесть пронизана светлым чувством оптимизма и жизнеутверждения.

Предлагаем вниманию читателей отрывки из повести в авторизованном переводе Г. ТАТОСЯНА.

КАКОЙ нынче ясный, солнечный день! 9-е августа. Едва выйдя из только что освобожденного нами села Яблочное, мы попадаем на довольно обширное поле.

Перед нами вдали в солнечной дымке виднеются очертания украинского города Ахтырки. Мы проходим какое-то расстояние открытым полем и внезапно подвергаемся ожесточенному обстрелу со стороны противника. Застигнув нас врасплох, он обрушивает на нас ружейный, пулеметный, орудийный, минометный огонь. Этого мы не ожидали. Отступив ночью, враг, как видно, закрепился на заранее подготовленных позициях, на подступах к Ахтырке. Мы же находимся на равнинном, незасеянном, покрытом низкой травой поле, видимые противником и досягаемые для всех видов его оружия. И мы всей ротой вынужденно ложимся на сухую и затверделую, вероятно, давно не паханную землю.

После первого интенсивного обстрела враг на короткое время умолкает, наверное, чтобы определить наше положение, а потом снова открывает огонь. Бойцы нашего взвода, еще не успев принять боевые порядки, лежат вразброс, впереди и сзади, вблизи и поодаль от меня. Будь проклята наша беспечность! Мы оставили в обозе, у сержанта Плотникова, не только наши вещмешки, но и полевые лопатки. Вокруг нет никакой ямы или рва, где можно было бы занять позицию. Впрочем, если бы даже лопатки были при нас, мы все равно не смогли бы в открытом поле, на виду у немцев, окопаться, да еще в такой твердой земле. Только сейчас едва доставили наши пулеметы. Обстановка требует быстрого решения.

— Толкни ко мне пулемет!— кричу лежащему позади меня товарищу. — И брось сюда коробку с патронами!

Пока командир взвода, лейтенант Борис Шеленин даст приказ по всем правилам устава (ах, эта наивность молодых выпускников военных училищ!), я подкатываю к себе пулемет, вдеваю в него ленту с патронами, направляю его в ту сторону, откуда стреляют немцы, и большими пальцами нажимаю на гашетки. Немцы очевидно, засекают мой пулемет, потому что тотчас же с разных точек обрушивают на меня огонь. Мгновенно опускаю голову под щит, прижимаюсь к земле. Вражеские пули, врезаясь в землю, поднимают вокруг меня фонтаны пыли, воздух наполняется запахом сожженного пороха. Я снова хватаюсь за рукоятки пулемета и даю еще одну, на этот раз длинную очередь. Ну, «Максимка», действуй! Никакой другой мысли в голове у меня нет. Больше ничего не помню, и нет ни одной другой нити, связывающей меня с жизнью. Это как раз тот роковой момент, который решит, быть мне или не быть. Момент этот должен был наступить, и вот он наступил. Конец! Только одна мысль, одно желание владеет мной: бить, бить и еще бить!

На миг вражеский огонь вновь прекращается. И я снова опираюсь на локти, чтобы взяться за рукоятки пулемета, и в это мгновение чувствую, что будто каленым шампуром проткнули мне правое плечо до самой груди. Рука сразу тяжелеет, словно отнимается от тела как не подчиняющаяся моей воле, не принадлежащая мне его часть. Из подмышки, как из крана, сразу хлынула обильная и горячая кровь, заливая рукав и грудь гимнастерки. Я ранен! Да, я ранен. Но почему я задыхаюсь? До предела открываю рот, но воздуха мне не хватает. И почему так хочется повернуться на живот, на спину, на бок? Неужели повреждены легкие? Неужели я выхожу из строя? Неужели рана смертельная? Значит, случилось то, что должно было в конце концов случиться. Я умираю. Но нет, вот слышу чей-то прерывистый голос:

— Товарищ помкомвзвода, это я, Танков. Где твой бинт? Надо руку тебе перевязать.

Это чуваш Танков из нашего последнего пополнения. Он склонился надо мной.

— Остался в вещмешке, — едва произношу я. — Разорви мою гимнастерку.

Танков как будто плачет, но слез не видно. Он перевязывает мне руку, не зная, что кровь течет и из груди, прямо под рукой.

— Ты кончил свою войну, пойдешь в госпиталь, на время спасся, — говорит он мне и кажется, что без слез плачет. Не пойму только, о чем. Обо мне или о себе?..

Рука моя постепенно немеет. Воздуха недостает, хотя дышу полной грудью. В глазах помутилось.

Вдруг кто-то кричит:

— Танки! Танки!..

Я еле поднимаю голову, с большим усилием открываю глаза и вижу вдали, по солнечному, пыльному, жаркому полю мчатся танки, множество танков. «Значит, и вправду пришел мой конец. Я не могу двигаться, и негде укрыться. Танки пройдут по мне», — думаю я и от этой мысли — удивительное дело! — словно бы успокаиваюсь, примиряюсь со смертью. А может, у меня просто иссякают силы?

— Фашистские!... — едва произношу я, задыхаясь.

— Наши! С двух сторон идут прямо на немца! Наши танки! — отвечает Танков. Он перевязал мне руку, совершенно изорвав мою гимнастерку. Лоскуты ее сразу насквозь пропитались кровью, которая все течет и течет. Сколько я ее уже потерял? Неужели я вконец изойду кровью? А может, выживу? Мне все-таки повезло, я еще дышу, и что будет с этим юношей через минуту, через час?

— Иди в тыл, товарищ помкомвзвода,—говорит мне Танков и бежит вперед.

В эту же секунду немцы открывают минометный огонь. Их автоматы и пулеметы умолкли. Видно, отступают.

Кое-как я становлюсь на левое колено и, кряхтя, поднимаюсь на ноги. Ступаю медленно, с полузакрытыми глазами, шатаясь, как пьяный. Шагаю под огнем то тут, то там разрывающихся одиночных снарядов. Пройдя так метров пятьдесят, я падаю уже без сознания. Потом я узнаю, что санитары, положив меня на плащ-палатку, протащили по земле до санбата, находившегося за небольшим холмом. Там уже много раненых.

Солнце бьет мне прямо в глаза. Я открываю их и вдруг слышу:

— Жить не будет, пуля вошла в грудь.

Это говорит батальонный врач капитан Харламов. Глаза мои снова смыкаются. Нет сил прочувствовать весь ужас слов врача. Значит, все кончено...

Но, вероятно, физическая сущность человека более стойка и вынослива, чем психологическая. Я еще дышу, я еще живу, и постепенно мое сознание пробуждается, сосредоточиваясь на том, что для меня наиболее важно. Самое важное для меня сейчас — это мой вещмешок, тот, что я оставил в обозе у пожилого сержанта Плотникова. Там, в вещмешке, письма Стеллы, фотоснимки, те номера нашей армейской газеты, где напечатаны мои заметки. Особенно дороги мне письма от Стеллы и родных, пронесенные мною через все невзгоды и испытания моей боевой жизни.

Повозка с четырьмя ранеными, среди которых и я, движется от фронта к полуразрушенному Яблочному, откуда мы вышли сегодня утром. Превозмогая боль, прошу ездового.

— Слушай, позови сержанта Плотникова. Посмотри, где он.

— А для чего? Что случилось?

— Там, в его повозке, мой вещмешок, надо взять.

— А что там, в мешке?

Я не могу лгать.

— Мои записки, стихи, письма от родных, от девушки.

— А еще что?

— Больше ничего, письма мои...

Ездовой поворачивается в мою сторону и не только с презрением, но и с гневом бросает:

— Представляешь? Письма! Любимая девушка!.. Дурак! Балда! Какие письма?! Какая девушка?!. Ты бога благослови, что жив остался.

Я замолкаю. И действительно... И письма Стеллы, и фотокарточка пропадут, их унесет ветер, смешает с этой пылью, грязью, кровью, разбросает по всему этому полю, их будут давить гусеницы танков, топтать сапоги.

Вечером нас всех, легко и тяжело раненных, укладывают на соломе во дворе уцелевшей сельской школы. Лежу и вдруг слышу, как в другом конце двора кто-то говорит:

— Ованесян тоже убит.

Хочу крикнуть — нет, нет, я жив! — и не могу, хочу шевельнуться — не могу.

Ночью мы остаемся под деревьями школьного двора. А по улице через все село беспрерывно движутся танки. Мы слышим лязг гусениц, скрип колес, иногда — человеческие голоса, приказы и распоряжения. Едут танки. Как их много! На другой день нам сказали, что шли сильные танковые бои за Ахтырку, за ее узловую станцию. Два или три раза город переходил из рук в руки.

Утром нас размещают в здании школы. В большой классной комнате мы лежим рядом друг с другом на полу, устланном сухой соломой, но уже покрытые одеялами. Спортивный зал школы превращен в хирургический кабинет. Конечно, без аппаратов. Врачи, сестры, санитарки.

Три дня подряд я не могу ни двинуться с места, ни есть. Состояние какого-то оцепенения. Но самое ужасное — что я не могу своими ногами пройти в хирургический кабинет. На перевязки меня носит, взвалив себе на спину, молоденькая, миловидная девушка Шура. Правда, вес у меня легкий, не достигает и шестидесяти, но какой позор, какой стыд—я думаю об этом все три дня. И не знаю, что делать. Бесконечно повторяю:

— Вы меня извините, Шура, очень прошу!

— Ничего, ничего, — говорит она, — бывает и хуже.

Не знаю, осталась ли пуля в моем теле или, пройдя через плечо, утратила силу и уже не проникла в грудь. Во всяком случае врачи ее не обнаружили или не извлекли. Только спиртом очищают рану, перевязывают новым бинтом и иногда проверяют подвижность руки, что причиняет мне сильную боль.

Через три дня состояние мое несколько улучшается. Я начинаю мало-помалу разговаривать с соседом и, хотя и с трудом, сам хожу на перевязку.

На четвертый день я уже осматриваюсь, слышу и понимаю не только стоны окружающих, но и слова, вопросы, разговоры.

Рядом со мной лежит русский лейтенант, обе ноги которого ранены выше колен. Четыре дня мы не разговаривали. Сил не было и у него. И вот теперь ведем беседу. Она начинается с обычных вопросов: из какой части, где ранен, откуда родом, имеешь ли специальность, какой национальности.

— А-а, вы армянин, — еле улыбаясь и с трудом поворачивая ко мне голову, говорит лейтенант. — Знаете, это, может, покажется удивительным, в жизни мне еще не приходилось знакомиться с армянами. Но я люблю ваш народ, вашу литературу.

И рассказывает:

— До войны, в Саратове, я работал на заводе техником, любил читать. Прочитал, кажется, всю художественную литературу, что была в заводской библиотеке. И однажды пришлось долго ждать, пока библиотекарша найдет новую для меня книгу. Нашла, принесла. Незнакомый автор, странное название. Взял. Вечером начал читать. С первых же страниц книга меня захватила, и я читал до поздней ночи. А когда кончил читать, разбудил жену и рассказал ей содержание этого романа. Что за волнующий роман! До сих пор помню его.

— А о чем он?

— Из армянской жизни. Сейчас затрудняюсь вспомнить имя автора и название. История там такая: мальчик и девочка в детстве были товарищами, вместе играли. Родители поклялись в будущем их обвенчать. Но когда девочка выросла, отец выдал ее замуж за другого. На почве ревности любимый девушкой друг детства...

— Вспомнил, вспомнил... «Честь», «Честь», — говорю, переведя название известного романа Ширванзаде.

— Нет, нет, название на вашем языке.

— «Намус». «Намус» Александра Ширванзаде.

— Вот, вот, «Намус». Ширванзаде, «Намус». Какая великолепная вещь!.. Прочел, потом дал моему товарищу, конечно, с соответствующей рекомендацией. Затем эта книга, у которой, когда я ее впервые взял, даже листы не были разрезаны, прошла через руки всех работников завода и за два месяца вся истрепалась, почти что рассыпалась...

Раненый сосед мой говорит, а у меня увлажняются глаза. Я вспоминаю несчастную любовь Сусан и Сейрана, мой далекий, родной край, дни моей юности, любимого писателя...

Лейтенант молча, не мигая глядит в потолок, и на его губах, в глазах, в слабой улыбке мелькают отблески какого-то воспоминания, мечты, может быть, события, происшедшего в его жизни...

Дни, проведенные в этом полевом госпитале, запомнились мне еще одной встречей.

Каждый день, в одно и то же время, у двери нашей комнаты появляются двое — старик и старуха. По-видимому, супруги. Они стоят у двери, долго и безмолвно смотрят на каждого из нас, словно ищут родного сына. И каждый раз старушка приносит в передниках вареные яйца, хлеб, яблоки, печеную картошку, приносит, кладет рядом с нами и молча, ничего не сказав, отходит, становится у двери рядом с мужем. И снова они долго смотрят на нас и потом уходят.

Однажды я спросил:

— У вас сын есть? Может, и он воюет?

— Нет, нету. Да разве вы не наши сыновья? У нас было два сына, оба умерли маленькими еще до войны.

У меня нет сил даже плакать. Я только вздыхаю, смотрю на них и думаю, что и у меня ведь такая же жалостливая мать. Что она сейчас делает и знает ли, где ее сын и в каком он состоянии?

ВЕРНО сказано: у войны—не женское лицо. Но лицо войны видели едва ли не все женщины нашей страны—живущие далеко от фронта, полуголодные, тоскующие, день и ночь работающие, взвалившие на себя ярмо мужских забот, давно лишенные женских радостей. Особенно острую, невыразимую боль и в то же время сочувствие вызывают во мне фронтовые женщины. Их немало. Они встречаются, всюду, во всех родах войск, они выполняют много отнюдь не женских, сверхчеловеческих дел, совершают подвиги. Я знаю, что большинство из них пришли в действующую армию добровольно, движимые высоким патриотическим чувством, многие—по примеру своих любимых мужчин. Знаю и тем не менее грущу каждый раз, когда вижу их в жестком и грубом военном обмундировании, когда вижу, как они стреляют или роют окопы, спят в сырых землянках или выносят на себе раненых с поля боя, каждый раз, когда они хотят умыться, причесаться, привести себя в порядок...

В полку появилось много девушек. С некоторыми из них я познакомился во время наших длинных переходов.

... Мы перемещались на новые позиции. Двигались по грязной, ухабистой дороге, через лес. Деревья еще пестрели по-осеннему многокрасочными, но и грустными листьями.

Холодное заходящее солнце, что повисло над далеким горизонтом леса, напоминало яркокрасное, точно мак, блюдо, а его лучи, поблекнув в ясном воздухе, бросали длинные бронзовые отблески на верхушки деревьев. Я вспомнил картину Куинджи, которую видел в Ереванской картинной галерее, когда был еще школьником. Между красноватыми, белыми и коричневыми стволами сосен, берез и елей сгущался осенний синий вечер, придавая лесу таинственный, волшебный вид.

Я глядел с каким-то отрешенным восторгом и невольно сказал шедшему рядом товарищу:

— Посмотри, какой лес красивый! Тихий и таинственный. И вместе с тем грустный.

— Вы большой романтик, — вдруг услышал я позади себя.

Я обернулся. На меня смотрела, улыбаясь, девушка.

— Познакомимся: Валя Зайченко, из роты связи. Вы, случайно, не художник?

Я растерялся от столь неожиданного натиска, и поскольку, оглянувшись, продолжал идти, — споткнулся, упал, но тотчас же поднялся, смеясь. Она, несомненно, была моложе меня, волосы, подстриженные под мальчика, скрывала ушанка, лицо белое, нежное, веснушчатое, глаза зеленовато-голубые, смешливые, нос маленький, вздернутый. Вместе с нею, рядом и сзади, шагали такие же, как она, молодые, живые, миловидные девушки...

После того дня я иногда ее встречаю, и, если позволяет время, мы беседуем.

Большая часть девушек нашего полка — харьковчанки. Они пережили полтора тяжелых года немецкой оккупации. Валя не имеет никаких вестей от отца, который был мобилизован в начале войны. В Харькове остались ее мать и младший брат.

— Наш город был освобожден в феврале этого года, — рассказывает она. — Как радовалось население! Как оно помогало армии! Как раз в то время я добровольно записалась в санитарки. Но, к сожалению, через месяц фашистам удалось снова захватить город. Какие были бои! Какое сопротивление! Сколько людей погибло — ой, мамочка! — передать не могу! И жителей тоже! Вместе с нашими отступающими войсками ушла из Харькова и я. Потом я два месяца училась на курсах и вот пришла в эту дивизию уже как связистка. Хорошие девушки у нас собрались, — продолжает она. — Командира нашей роты вы, наверно, знаете, он ваш земляк, чудесный парень, старший лейтенант Мелик Меликян.

Однажды, после боев, длившихся несколько дней, Валя сообщает мне, что в дивизию приехала певица Клавдия Шульженко, они идут на ее концерт, из полка тоже будут люди. Может, и я пойду?

Получив разрешение у майора Асланова, я с несколькими офицерами и солдатами иду на фронтовой концерт. Это для меня внове.

На лесной поляне вместо сцены стоит грузовик с открытыми бортами. На нем установлено пианино. Аккомпаниатор ставит ногу на стул, поднимается на кузов и, протянув руку Шульженко, помогает подняться ей. Клавдия Шульженко в шапке-ушанке, в черном, поношенном пальто со старой лисой на плечах. Пальто расстегнуто и под ним видно синее платье с белыми, как снежинки, пятнами. Это платье напоминает мне о другом мире. Оно вызывает в памяти мою Стеллу, у которой в те далекие-далекие дни было похожее платье. Это платье облегает нежное женское тело. Под этим платьем бьется женское сердце, которое дарит мужчине столько волнений, и тревог, и мечтаний. Это платье отделяет память о мирных днях от суровой военной действительности

Песни Шульженко нас восхищают, вызывают слезы радости, заставляют долго аплодировать артистке и просить ее петь еще и еще. И она поет без устали, с любовью и охотой, вселяя в нас бодрость и надежды. Ее песни будят наше воображение, соединяют его с волей к скорому достижению победы.

Возвращаемся с концерта. Темный лес, грязная дорога. Я делюсь своими мечтаниями с товарищами, с Валей, и она, смеясь, снова говорит мне:

— Вы неисправимый романтик.

И впрямь, какое отношение имеют наши нежные мечты к этой грязной, темной, страшной дороге?

НАЧАЛЬНИК штаба полка майор Асланов вызвал к себе из второго батальона пятерых автоматчиков и в присутствии командира батальона дал им сложное боевое задание.

— Противник хранит тревожное молчание. Лишь изредка в течение дня внезапно приходит в ярость и открывает короткий, но интенсивный огонь по нашим позициям. Хочет проверить нашу бдительность, наши нервы. В последние дни мы заметили также, что немецкий снайпер, приблизительно с этого участка (он показывает на карте закрашенную в темнозеленый цвет рощу) одиночными выстрелами убил несколько наших товарищей, которые неосторожно вышли из окопов. Нам нужен вражеский «язык», а если бы удалось захватить этого наглого снайпера, было бы великолепно. Что скажете?

Начинается оперативная, но непродолжительная беседа.

— Значит, так, — говорит майор, — снайпер в своем укрытии на ночь не остается. Ему, видимо, какой-либо вспомогательный огневой силы не дано. Укрытие находится впереди немецких позиций, метрах в ста от них. Между этой рощей и нашими траншеями — густые кустарники и мелкие болота, покрытые толстым слоем снега. Дорога к роще может быть только в районе расположения вашего батальона. Самая короткая — вот эта (он снова показывает на карте). Снайпер, по всей вероятности, приходит утром и уходит под вечер. Сможете ли вы (он обращается к пятерке автоматчиков) рано утром, до наступления рассвета пройти к этой роще?

Все молча и сосредоточенно смотрят на карту.

Майор продолжает:

— По-моему, это возможно. Капитан (он поворачивается к командиру батальона), защиту этой группы автоматчиков надо организовать разумно. Внимание пулеметчиков и стрелков направляешь в сторону этой рощи. Только осторожно, чтобы случайно не ударили по нашим. Мы этого снайпера давно бы убрали, но нам нужен живой «язык».

Разговор длится около пятидесяти минут.

Все это время я внимательно слежу за разработкой деталей боевого задания, с самого же начала оно мне кажется важным и соблазнительным. Когда разговор подходит к концу, я обращаюсь к майору Асланову:

— Товарищ гвардии майор, разрешите и мне пойти с ребятами. Может, понадобится что-то сказать или объяснить по-немецки.

Майор смотрит на меня, и на его обычно строгом лице появляется легкая улыбка. Я понимаю, что он тоже об этом думал, но не говорил. Иначе зачем же он меня пригласил на этот оперативный разговор? Он хлопает меня рукой по плечу, потом смотрит на автоматчиков и говорит:

— У них короткие, удобные куртки. У тебя длинная шинель, которая может тебе помешать. Наденешь мою меховую куртку. Ясно?

И обращается к старшему сержанту, руководителю группы.

— Ну-ка еще раз повтори задание.

Тот повторяет. Все ясно.

— Ну, теперь идите в батальон.

Я надеваю куртку майора, разумеется, сняв с нее погоны.

Всю ночь я почти не сплю. Собственно, и спать-то негде в заснеженном окопе, где под ногами сплошная грязь. Лишь трое из группы умудряются вздремнуть, опершись спиной на стену.

В предутреннем полумраке мы вылезаем из нашей траншеи и с автоматами на груди ползем по-пластунски в сторону рощи, над которой только начинает рассеиваться ночная мгла. Ползем, на миг останавливаемся, смотрим друг на друга, оглядываемся и рукой показываем: двигаться вперед. Чем ближе к цели, тем отчетливее слышу биение сердца. Но дыхание, как и у других, замерло. На дороге, действительно, встречается много кустов. Мы выбираем из них наиболее густые, чтобы, укрывшись за ними, чуточку отдохнуть.

На войне опытный, бывалый солдат, который уже знает, что такое бомбежка, обстрел, перестрелка, артиллерийский удар, отступление, наступление, словом, который нюхал порох, приобретает важнейшее свойство—чутье самосохранения. Это не трусость, в трусливого и слепая пуля угодит. Это и не самозащита, а именно самосохранение. Он быстро приспосабливается к обстановке, к местности, находит для себя лучшую позицию, у него обостряются слух, зрение, все чувства, и он может верно угадать источник и направление опасности, приблизительную точку падения бомбы, снаряда, мины, он различает голоса и звуки, иными словами, в нем вырабатываются условные рефлексы, которые всегда ему помогают и которых, к сожалению, лишены молодые солдаты, впервые вступающие в бой. Для пеших разведчиков эти качества имеют исключительное значение. Наша маленькая группа, видно, составлена из опытных, обстрелянных людей.

В зримой части рощи выделяется самое высокое, толстоствольное, ветвистое дерево. Мы в последний раз переглядываемся и руками объясняем друг другу, что это дерево и должно быть укрытием снайпера. Старший сержант, приложив палец ко рту, дает понять, что нам следует немного подождать, чтобы проверить, не пришел ли немец раньше нас, не сидит ли он уже на дереве.

К счастью, на дереве никого нет. Ползем дальше. Мы с одним бойцом залегаем в кустах, остальные — за деревьями. Проходят тяжелые, необычно долгие минуты. «А если вдруг этот наглец сегодня не придет?» — думаю я. Несомненно, так же думают и другие. Но вот сквозь медленно тающую мглу между деревьев появляется какая-то фигура. Да, это он, немецкий снайпер, лишивший нескольких наших воинов жизни. Тощий. Лицо и шея — в шерстяной маске с отверстием для глаз. На голове — шапка-ушанка. Куртка серая, на меховой подкладке. На ногах — валенки, вероятно, русские. На плече — винтовка в кожаном чехле. Из нее он стрелял по нашим. Неужели мы его не схватим? Но он как будто сам создает благоприятные для нас условия. Он идет прямо к тому кусту, за которым — бог ты мой! — лежу как раз я. Вот он уже у самого куста. Делает шаг вперед, и я, ни о чем больше не думая, выскакиваю и не знаю, как, по чьему велению, в силу какой-то мгновенной находчивости закрываю ему лицо своей ушанкой, сбиваю его с ног и прижимаю к земле. В ту же секунду на меня наваливаются мои товарищи, и немец не может ни пискнуть, ни шевельнуться. Я засовываю ему в рот платок, он пытается сопротивляться, но быстро сдается. Мои товарищи держат его за ноги и за руки, а старший сержант давит на грудь коленом. Без слов объясняем немцу, что будем двигаться ползком. Быстрей, быстрей, пока еще не рассвело и не проснулись немцы, находящиеся всего в ста метрах от нас. И вот мы уже приближаемся к нашим позициям, уже встаем на ноги и бежим, таща с собой немца с кляпом во рту. Нет больше снайпера, который бы целился в нас. Еще одна секунда, еще секунда, и мы падаем в окоп. Первым к нам подбегает командир батальона.

— Молодцы, ребята!.. Ну, платок изо рта достаньте, пусть скотина дышит по-человечески. Ведите его в штаб.

В штабе нас ожидает майор Асланов. Он поздравляет каждого из нас, а после короткого рассказа руководителя разведгруппы о том, как было выполнено задание, обнимает и целует меня, говоря:

— Молодец, соотечественник!

Это слово я слышу от него впервые.

В МАЛЕНЬКОЙ и холодной землянке, кроме меня, еще семь-восемь штабных солдат. Сейчас они роются в своих вещмешках, доставая дневной паек. Все готовятся к еде. Это заветные минуты солдата.

Вход в землянку прикрыт рядном, которое колышется от ветра. И только я открываю свой вещмешок, рядно откидывается в сторону и в землянку вваливается тяжелая, крупная фигура.

— Ва! Кочар, дорогой! Откуда ты? — воскликнул я, вскочив с места. — Какими судьбами?

Мое удивление естественно. Недавно Рачия Кочар был переведен из политотдела корпуса в редакцию фронтовой газеты, и его появление на переднем крае нашего полка было неожиданным. Когда он служил в корпусе, мы встречались часто. По правде говоря, я не надеялся, что снова увижусь с ним так скоро, и это меня очень огорчало: я привык делиться с Кочаром своими думами, чувствами, тоской по дому.

— Из редакции я выехал вчера. Сегодня на этом участке был бой. И я решил заехать сюда, тебя повидать и с тобой пойти в батальоны, участвовавшие в бою. Хочу в нашей газете написать об отличившихся солдатах. Пойдем?

Растерянно смотрю на Кочара, не знаю, что ответить. Не прошло и часа, как меня назначили дежурным по штабу. Я не имею права ни отлучаться, ни спать.

Кочар думает, что мне не хочется идти.

— Подожди минутку, — говорю я, — пойду к майору Асланову, возьму разрешение.

Майор Асланов с большим уважением относится к Кочару, он не откажет. Вскоре я возвращаюсь.

— Пошли. Майор то ли спал, то ли от усталости закрыл глаза что-то пробормотал, но, когда услышал твое имя, разрешил на два часа.

Выходим. Морозный ветер хлещет, обжигает наши лица. Потуже завязываем под подбородком тесемки ушанки, затягиваем пояса, через бруствер выбираемся из траншеи.

Холодные и ясные звезды, словно вытаращенные, удивленные глаза смотрят с неба прямо на нас. Метров сто мы должны идти по снегу, через развороченные земляные насыпи, между кустарников невдалеке от леса. А потом — только ползти.

На пути встречаем двух раненых. Боец, тащивший на себе одного из них, говорит, что мы должны двигаться все время прямо, не отклоняясь, чтобы достичь цели. Другого раненого, старшего сержанта, несут два солдата, несут с трудом, потому что ранен тот в ногу и, видимо, тяжело. Он кричит, ругается:

— Тише! Говорю, тише... Совесть у вас есть? Кровь еще течет...

Едва мы от них отошли, как несколько трассирующих пуль одна за другой просвистели между мной и Кочаром.

— Ложись! — кричим мы одновременно, камнем бросаясь на землю.

С минуту лежим молча и тяжело дыша.

— Ну, двинулись!

В шинели и сапогах ползти трудно. Особенно грузному Кочару. Нигде так не нужна легкость тела, как на фронте. Он ползет слева от меня и немного позади, поминутно останавливаясь. Мы понимаем друг друга без слов: надо осмотреться, перевести дыхание.

Все время, пока мы ползем, над нами, рядом с нами, напротив нас свистят, визжат и ударяются в землю трассирующие пули — одиночные и целыми очередями. До нас отчетливо доносится треск пулеметов и автоматов. Мы прислушиваемся к этим звукам и определяем наше направление.

Ползем более получаса, наконец достигаем первой траншеи и кубарем катимся в нее. Удивительно: ни души здесь нет. И вдруг слева слышится:

— Кто это там?

— Это мы, свои, из штаба.

Подходим. Уставший, нервный молодой человек, младший лейтенант.

— Вместо того, чтоб прислать жратву, вас присылают!

Мы говорим, что солдаты с обедом вот-вот появятся, они наполняли термоса, наверное, уже в пути.

— Мы пришли познакомиться с отличившимися бойцами. Я из фронтовой газеты, капитан Кочар, а мой товарищ из штаба полка. Ни одного немца в плен не взяли?

— Не знаю, что было на других участках, а мы с места не сдвинулись. И вообще, зачем сегодня столько боеприпасов попортили, не понимаю. Напрасно двух человек из моего взвода ранило. Говорите, должны писать в газете? Есть такой и хорошо поработал. Урузбаев! — зовет он, повернувшись налево. — Подойди.

Подходит щупленький узбек. Кочар начинает его расспрашивать.

Я продолжаю разговор с младшим лейтенантом. Выясняется, что родом он из Курской области. Вблизи от его села я воевал как раз в июле этого года. Никаких вестей от родных он не имеет.

Побеседовав с полчаса, мы собираемся в обратный путь.

— Место здесь не совсем удобное, — говорит Кочар, обращаясь к младшему лейтенанту, — но позвольте поздравить вас и ваших бойцов с наступающим Новым годом и выразить пожелание, чтобы это был год победы, чтобы все мы дожили до конца войны.

Младший лейтенант более приветливым тоном, чем вначале, отвечает:

— Спасибо! Вас также поздравляю. Вы шли к нам длинной дорогой. Возвращайтесь вот так, по направлению моей руки. До свидания...

Обратный путь оказался сравнительно легким. Пройдя двести метров по-пластунски, мы выходим из зоны слепых пуль, прорезающих темноту. Встаем на ноги, запыхавшись и едва сдерживая кашель, вызванный напряжением. Здесь мы встречаем солдат с тяжелыми термосами на плечах.

— Поторопитесь, поторопитесь, — говорит им Кочар. — Там вас ждут. Дальше надо продвигаться ползком.

И вот мы уже в нашей землянке.

Солдаты спят, сидя на грубых досках-скамейках, установленных под тремя земляными стенами, прижавшись друг к другу, засунув руки в рукава шинели. На краю правой доски осталось немного свободного места. Я предлагаю Кочару как-нибудь там примоститься. Сам сажусь на пустую канистру.

— Найдется у тебя чего-нибудь поесть, Рачик? С утра ничего не брал в рот.

— Хлеб, масло, кусок сахара.

Достаю, делю пополам, начинаем медленно жевать.

— Водки нет?

— Нет, к сожалению. Что утром дали, выпил. Не ждал тебя.

— Что же делать? Новый год ведь наступает... Ну, ладно, — говорит он, грустно улыбаясь, — будем чокаться пустыми руками и мысленно пить тосты. Первый тост — за всех наших: Асмик, Стеллу, Мери, за твоих родителей, за всех.

Коптилка на выступе стены потрескивает, слабым пламенем освещая холодную землянку, и хотя фитиль вставлен в гильзу от снаряда, кажется, будто мы в каком-то затерянном, тихом и мирном уголке.

— Выпьем за нашу близкую победу.

— Ах, когда же она придет? Доживем ли до того дня?

— Выпьем за то, чтоб дожить!

Сжимаем пальцы в кулак и «чокаемся».

— За твое здоровье!

— И за твое!

Нить беседы идет, тянется до Еревана, потом возвращается на фронт и обрывается в нашей землянке. Уже поздно. Приближается новый год с ожиданиями, надеждами и незедомым, неясным будущим нашей судьбы.

Кочар дремлет. Мало-помалу он расширяет свое место, потеснив соседа-солдата, устраивается поудобнее, что-то шепчет, то ли уже во сне, то ли продолжая еще бодрствовать с закрытыми глазами. Но вот дыхание его становится ритмичным и громким, а при выдохе — даже певучим. Мне спать нельзя. Прислонившись к сырой стене, я смотрю на Кочара и думаю. Если на этой страшной, полной опасностей и страданий войне может быть счастье, то вот оно — это счастье. Если бы этого человека, моего товарища и друга, сейчас не было, как не было его во все мои прошедшие боевые дни, то я не знал бы и этого счастья. Разве это мало — в холодной и жалкой землянке, затерянной в снегах за тысячи километров от родного края, ощущать теплое дыхание близкого человека, вместе с которым вспоминаешь отчий дом и дорогие имена, вместе с которым хочешь дожить до желанного дня Победы?..

Что несет новый год нам, всей нашей стране и каждому из нас? Отпразднуем ли мы в этом году победу или мучения нашего народа будут еще продолжаться? Останемся ли мы живы или найдем свою смерть в бурях и пожарах этой грозной войны? И если погибнем, то где будет наша могила — на родной земле или в стране врага?..

Сквозь полусомкнутые веки я замечаю сероватый свет, проникающий с боков висящего у входа рядна. Сероватый постепенно сменяется пепельным, потом темноголубым. В этот предрассветный час отчетливее ощущается необычная тишина на фронте. Через отверстия с обеих сторон рядна в землянку уже проникает холодный пар мороза. Вместе с ним идет свежий воздух, очищенный за ночь от запахов пороха, дыма и гари и несущий с собой зеленый аромат сосны, ели, леса.

Кочар просыпается, потягивается, встает, поправляет шинель, пояс, и мы выходим из землянки.

— С Новым годом!

— С Новым годом!

Мы обнимаемся и расстаемся.

По снежной, местами потемневшей, покрытой еловыми ветками, наслеженной колесами и ногами дороге идет он широким шагом, крупный и высокий, уходит все дальше и дальше, и как знать, куда — к славной смерти или победной жизни?

Было первое января 1944 года.

До великой Победы оставалось еще шестнадцать месяцев и девять дней.